

Болото — текст 1 из 2

Летний вечер гаснет. В засыпающем лесу стоит гулкая тишина. Вершины огромных строевых сосен еще алеют нежным отблеском догоревшей зари, но внизу уже стало темно и сыро. Острый, жаркий, сухой аромат смолистых ветвей слабеет, зато сильнее чувствуется сквозь него приторный запах дыма, которым тянуло весь день с дальнего лесного пожарища. Неслышно и быстро опускается на землю мягкая северная ночь. Птицы замолчали с заходом солнца. Одни только дятлы еще выбивают лениво, точно сквозь сон, свою глухую, монотонную дробь.

Вольнопрактикующий землемер Жмакин и студент Николай Николаевич, сын небогатой вдовы-помещицы Сердюковой, возвращаются со съемки. Идти домой, в Сердюковку, им поздно и далеко: они заночуют сегодня в казенном лесу, у знакомого лесника Степана. Узкая тропинка вьется между деревьями, исчезая в двух шагах впереди. Высокий и худой землемер идет, сгорбившись и опустив вниз голову, идет тем редким, приседающим, но размашистым шагом, каким ходят привычные к длинным дорогам люди: мужики, охотники и землемеры. Коротконогий, низенький и полный студент едва поспевает за ним. Он вспотел и тяжело дышит открытым ртом; белая фуражка сбита на затылок; рыжеватые спутанные волосы упали на лоб; пенсне сидит боком на мокром носу. Ноги его то скользят и разъезжаются по прошлогодней, плотно улежавшейся хвое, то с грохотом цепляются за узловатые корневища, протянувшиеся через дорогу. Землемер отлично видит это, но нарочно не убавляет шагу. Он устал, зол и голоден. Затруднения, испытываемые студентом, доставляют ему злорадное удовольствие.

Землемер Жмакин делает, по приглашению госпожи Сердюковой, упрощенный план хозяйства в ее жиденьких, потравленных скотом и вырубленных крестьянами лесных урочищах. Николай Николаевич добровольно вызвался помогать ему. Помощник он старательный и толковый, и характер у него самый удобный для компании: светлый, ровный, бесхитростный и ласковый, только в нем много еще осталось чего-то детского, что сказывается в некоторой наивной торопливости и восторженности. Землемер же, наоборот, человек старый, одинокий, подозрительный и черствый. Всему уезду известно, что он подвержен тяжелым, продолжительным запоям, и потому на работу его приглашают редко и платят скупо.

Днем у него еще кое-как ладятся отношения с молодым Сердюковым. Но к вечеру землемер обыкновенно устает от ходьбы и от крика, кашляет и

становится мелочно-раздражительным. Тогда ему снова начинает казаться, что студент только притворяется, что его интересует съемка и болтовня с крестьянами на привалах, а что на самом деле он приставлен помещицей с тайным наказом наблюдать, не пьет ли землемер во время работы. И то обстоятельство, что студент так живо, в неделю, освоился со всеми тонкостями астробической съемки, возбуждает ревнивую и оскорбительную зависть в Жмакине, который три раза проваливался, держа экзамен на частного землемера. Раздражает старика и неудержимая разговорчивость Николая Николаевича, и его свежая, здоровая молодость, и заботливая опрятность в одежде, и мягкая, вежливая уступчивость, но мучительнее всего для Жмакина сознание своей собственной жалкой старости, грубости, пришибленности и бессильной, несправедливой злости.

Чем ближе подходит дневная съемка к концу, тем ворчливее и бесцеремоннее делается землемер. Он желчно подчеркивает промахи Николая Николаевича и обрывает его на каждом шагу. Но в студенте такая бездна молодой, неисчерпаемой доброты, что он, по-видимому, совершенно не способен обижаться. В своих ошибках он извиняется с трогательной готовностью, а на угловатые выходки Жмакина отвечает оглушительным хохотом, который долго и раскатисто гуляет между деревьями. Точно не замечая мрачного настроения землемера, он засыпает его шутками и расспросами с тем же веселым, немного неуклюжим и немного назойливым добродушием, с каким жизнерадостный щенок теребит за ухо большого, старого, угрюмого пса. Землемер шагает молча и понуро. Николай Николаевич старается идти рядом с ним, но так как он путается между деревьями и спотыкается, то ему часто приходится догонять своего спутника вприпрыжку. В то же время, несмотря на одышку, он говорит громко и горячо, с оживленными жестами и с неожиданными выкриками, от которых идет гул по заснувшему лесу. Я живу в деревне недолго, Егор Иваныч, говорит он, стараясь сделать свой голос проникновенным, и убедительно прижимает руку к груди. И я согласен, я абсолютно согласен с вами в том, что я не знаю деревни. Но во всем, что я до сих пор видел, так много трогательного, и глубокого, и прекрасного... Ну да, вы, конечно, возразите, что я молод, что я увлекаюсь... Я и с этим готов согласиться, но, жестоковейный практик, поглядите на народную жизнь с философской точки зрения...

Землемер презрительно пожал одним плечом, усмехнулся криво и язвительно, но продолжал молчать.

Посмотрите, дорогой Егор Иваныч, какая страшная историческая древность во всем укладе деревенской жизни. Соха, борона, изба, телега кто их выдумал? Никто. Весь народ скопом. Две тысячи лет тому назад эти предметы были точка в точку в таком же виде, как и теперь. Совсем так же люди тогда и

сеяли, и пахали, и строились. Две тысячи лет тому назад!.. Но когда же, в какие чертовски отдаленные времена сложился этот циклопический обиход? Мы об этом не смеем даже думать, милый Егор Иванович. Здесь мы с вами проваливаемся в бездонную пропасть веков. Мы ровно ничего не знаем. Как и когда додумался народ до своей первобытной телеги? Сколько сотен, может быть тысяч, лет ушло на эту творческую работу? Черт его знает! вдруг крикнул во весь голос студент и торопливо передвинул фуражку с затылка на самые глаза. Я не знаю, и никто ничего не знает... И так все, чего только ни коснись: одежда, утварь, лапти, лопаты, прялка, решето!.. Ведь поколения за поколениями миллионы людей последовательно ломали голову над их изобретением. У народа своя медицина, своя поэзия, своя житейская мудрость, свой великолепный язык, и при этом заметьте ни одного имени, ни одного автора! И хотя все это жалко и скудно в сравнении с броненосцами и телескопами, но простите меня какие-нибудь вилы удивляют и умиляют несравненно больше!..

Ту-ру-ру, ти-лю-лю, запел фальшиво Жмакин и завертел рукой, подражая шарманщику. Завели машину. Удивляюсь, как это вам не надоест: каждый день одно и то же?

Нет, Егор Иванович, ради бога! заторопился студент. Вы только послушайте, только послушайте меня. Мужик, куда он у себя ни оглянется, на что ни посмотрит, везде кругом него старая-престарая, седая и мудрая истина. Все освещено дедовским опытом, все просто, ясно и практично. А главное абсолютно никаких сомнений в целесообразности труда. Возьмите вы доктора, судью, литератора. Сколько спорного, условного, скользкого в их профессиях! Возьмите педагога, генерала, чиновника, священника...

Попросил бы не касаться религии, внушительным басом заметил Жмакин. Ах, не в этом дело, Егор Иванович, нетерпеливо и досадливо замахал рукой Сердюков. Возьмите, наконец, прокурора, художника, музыканта. Я ничего не говорю, все это лица почтенные. Но каждому из них, наверное, хоть раз приходила в голову мысль: а ведь, черт побери, так ли уж нужен человечеству мой труд, как это кажется? У мужика же все удивительно стройно и ясно. Если ты весной посеял, то зимою ты сыт. Корми лошадь, и она тебя прокормит. Что может быть вернее и проще? И вот этого самого практического мудреца извлекают за шиворот из недр его удобопонятной жизни и тычут лицом к лицу с цивилизацией. В силу статьи такой-то и на основании кассационного решения за номером таким-то, крестьянин Иван Сидоров, нарушивший интересы чересполосного владения, приговаривается, и так далее. Иван Сидоров на это весьма резонно отвечает: Ваше благородие, да ведь еще наши деды-прадеды пахали по эту вербу, вот и пень от нее остался. Но тогда является на сцену землемер Егор Иванович Жмакин.

Прошу без намеков по моему адресу, обидчиво прервал Жмакин.

Является... ну, скажем, землемер Сердюков, если это вам больше нравится, и изрекает: Линия АВ, отграничивающая владения Ивана Сидорова, идет по румбу зюйд-ост, сорок градусов тридцать минут. Очевидно, что Иван Сидоров совместно с дедом и прадедом запахал чужую землю. И вот Иван Сидоров сидит в кутузке, сидит совершенно правильно, по всем статьям уложения о наказаниях, но все-таки он ровно ничего не понимает и хлопает глазами. Что значит для него ваш румб в сорок градусов, если он с молоком матери всосал убеждение, что чужой земли на свете не бывает, а что вся земля божья?..

К чему вы все это выражаете? угрюмо спросил Жмакин.

Или вот еще: гонят Ивана Сидорова на военную службу, горячо продолжал Сердюков, не слушая землемера. И вот дядька учит его: Доверни приклад, втяни живот, делай рраз! Подавайся всем корпусом вперед... Да позвольте же, господа! Я сам прослужил отечеству два месяца и охотно верю, что для военной службы эти кунштюки¹ необходимы. Но ведь это же для мужика чистая абракадабра, колокольня в уксусе, сапоги всмятку! Как хотите, но не может же взрослый человек, оторванный от простой, серьезной и понятной жизни, поверить вам на слово, что эти фокусы действительно необходимы и имеют разумное основание. И, конечно, он глядит на вас, как баран на новые ворота.

Не довольно ли на сегодняшний раз, Николай Николаевич? сказал землемер. Мне, по правде говоря, надоела уже эта антимония. Что-то вы такое из себя хотите изобразить, но толку у вас ничего не выходит. Какого-то донжуана из себя строите! И к чему весь этот разговор, не понимаю я.

Огибавший куст студент рысцой догнал мрачно шагавшего землемера.

Вот вы сегодня утром говорили, что мужик глуп, что мужик ленив, мужика надо драть, мужик раздурачился. Говорили вы это с ненавистью и потому, конечно, были несправедливее, чем хотели бы. Но поймите же, дорогой Егор Иваныч, что у нас с мужиком разные измерения: он с трудом постигает третье, а мы уже начинаем предчувствовать четвертое. Сказать, что мужик глуп! Послушайте, как он говорит о погоде, о лошади, о сенокосе. Чудесно: просто, метко, выразительно, каждое слово взвешено и прилажено... Но послушайте вы того же мужика, когда он рассказывает о том, как он был в городе, как заходил в театр и как по-благородному провел время в трактире с машиной... Какие хамские выражения, какие дурацкие, исковерканные слова, что за подлый, лакейский язык. Господа, нельзя же так! воскликнул студент, обращаясь в пространство и разводя руками с таким видом, как будто весь лес был наполнен слушателями. Ну да, я знаю, мужик беден, невежественен, грязен... Но дайте же ему вздохнуть. У него от вечной натуги грыжа,

историческая, социальная грыжа. Накормите его, вылечите, выучите грамоте, а не пришибайте его вашим четвертым измерением. Потому что я твердо уверен, что, пока вы не просветите народа, все ваши кассационные решения, румбы, нотариусы и сервитута будут для него мертвыми словами четвертого измерения!..

Жмакин вдруг резко остановился и повернулся к студенту.

Николай Николаевич! Да прошу же я вас наконец! воскликнул он плачущим, бабьим голосом. Так вы много разговариваете, что терпение мое лопнуло. Не могу я больше, не желаю!.. Кажется, интеллигентный человек, а не понимаете такой простой вещи. Ну, говорили бы дома или с товарищем своим. А какой же я вам товарищ, спрашивается? Вы сами по себе, я сам по себе, и... и не желаю я этих разговоров. Имею полное право...

Николай Николаевич боком, поверх стекол пенсне, поглядел на Жмакина. У землемера было необыкновенное лицо: спереди узкое, длинное и острое до карикатурности, но широкое и плоское, если глядеть на него сбоку, лицо без фаса, а с одним только профилем и с унылым висячим носом. И в мягком, отчетливом сумраке позднего вечера студент увидел на этом лице такое скучное, тяжелое и сердитое отвращение к жизни, что у него сердце заняло мучительной жалостью. Сразу с какой-то проникновенною, больною ясностью он вдруг понял и почувствовал в самом себе всю ту мелочность, ограниченность и бесцельное недоброжелательство, которые наполняли скудную и одинокую душу этого неудачника.

Да вы не сердитесь, Егор Иваныч, сказал он примирительно и смущенно. Я не хотел вас обидеть. Какой вы раздражительный!

Раздражительный, раздражительный, с бестолковою злостью подхватил Жмакин. Вполне станешь раздражительным. Не люблю я этих разговоров... вот что... Да и вообще, какая я вам компания? Вы человек образованный, аристократ, а я что? Серое существо и ничего больше.

Студент разочарованно замолчал. Ему всегда становилось грустно, когда он в жизни натыкался на грубость и несправедливость. Он отстал от землемера и молча шел за ним, глядя ему в спину. И даже эта согнутая, узкая, жесткая спина, казалось, без слов, но с мрачною выразительностью говорила о нелепо и жалко проволочившейся жизни, о нескончаемом ряде пошлых обид судьбы, об упрямом и озлобленном самолюбии...

В лесу совсем стемнело, но глаз, привыкший к постепенному переходу от света к темноте, различал вокруг неясные, призрачные силуэты деревьев. Был тихий, дремотный час между вечером и ночью. Ни звука, ни шороха не раздавалось в лесу, и в воздухе чувствовался тягучий, медвяный травяной запах, плывший с далеких полей.

Дорога шла вниз. На повороте в лицо студента вдруг пахнуло, точно из

глубокого погребя, сырым холодком.

Осторожнее, здесь болото, отрывисто и не оборачиваясь сказал Жмакин.

Николай Николаевич только теперь заметил, что ноги его ступали неслышно и мягко, как по ковру. Вправо и влево от тропинки шел невысокий, путанный кустарник, и вокруг него, цепляясь за ветки, колеблясь и вытягиваясь, бродили разорванные неясно-белые клочья тумана. Станный звук неожиданно пронесся по лесу. Он был протяжен, низок и гармонично-печален и, казалось, выходил из-под земли. Студент сразу остановился и затрясся на месте от испуга.

Что это, что? спросил он дрожащим голосом.

Выпь, коротко и угрюмо ответил землемер. Идемте, идемте. Это плотина.

Теперь ничего нельзя было разобрать. И справа и слева туман стоял сплошными белыми мягкими пеленами. Студент у себя на лице чувствовал его влажное и липкое прикосновение. Впереди равномерно колыхалось темное расплывающееся пятно: это была спина шедшего впереди землемера. Дороги не было видно, но по сторонам от нее чувствовалось болото. Из него подымался тяжелый запах гнилых водорослей и сырых грибов. Почва плотины пружинилась и дрожала под ногами, и при каждом шаге где-то сбоку и внизу раздавалось жирное хлюпанье просачивающейся тины.

Землемер вдруг остановился. Сердюков с размаху уткнулся лицом ему в спину.

Тише. Эк вас несет! сердито огрызнулся Жмакин. Подождите, я покричу лесника. Еще ухнешь, пожалуй, в эту чертову трясину.

Он приложил ладони трубой ко рту и закричал протяжно:

Степ-а-ан!

Уходя в мягкую бездну тумана, голос его звучал слабо и бесцветно, точно он отсырел в мокрых болотных испарениях.

А, черт его знает, куда тут идти! злобно проворчал, стиснув зубы, землемер. Впору хоть на четвереньках ползти. Степ-а-ан! крикнул он еще раз раздраженным и плачущим голосом.

Степан! поддержал отрывистым и глухим басом студент.

Они долго кричали, по очереди, кричали до тех пор, пока в страшном отдалении от них туман не засветился в одном месте большим, желтым, бесформенным сиянием. Но это светящееся мутное пятно, казалось, не приближалось к ним, а медленно раскачивалось влево и вправо.

Степан, ты, что ли? крикнул в эту сторону землемер.

Гоп-гоп! отозвался из бесконечной дали задущенный голос. Никак Егор Иваныч?

Мутное пятно в одно мгновение приблизилось, разрослось, весь туман вокруг сразу засиял золотым дымным светом, чья-то огромная тень заметалась в

освещенном пространстве, и из темноты вдруг вынырнул маленький человек с жестяным фонарем в руках.

Так и есть, он самый, сказал лесник, подымая фонарь на высоту лица. А это кто с вами? Никак сердюковский барчук? Здравия желаем, Миколай Миколаич. Должно, ночевать будете? Милости просим. А я-то думаю себе: кто такой кричит? Ружье захватил на всякий случай.

В желтом свете фонаря лицо Степана резко и выпукло выделялось из мрака. Все оно сплошь заросло русыми, курчавыми, мягкими волосами бороды, усов и бровей. Из этого леса выглядывали только маленькие голубые глаза, вокруг которых лучами расходились тонкие морщинки, придававшие им всегдашнее выражение ласковой, усталой и в то же время детской улыбки.

Так пойдете, сказал Степан и, повернувшись, вдруг исчез, как будто растаял в тумане. Большое желтое пятно его фонаря закачалось низко над землей, освещая кусочек узкой тропинки.

Ну, что, Степан, все еще трясет тебя? спросил Жмакин, идя вслед за лесником.

Все трясет, батюшка Егор Иваныч, ответил издалека голос невидимого Степана. Днем еще крепимся понемногу, а как вечер, так и пошло трясти. Да ведь, Егор Иваныч, ничего не поделаешь... Привыкли мы к этому.

А Марье не лучше?

Где уж там лучше. И жена и ребятишки все извелись, просто беда. Грудной еще ничего покуда, да к ним, конечно, не пристанет... А мальчонку, вашего крестника, на прошлой неделе свезли в Никольское. Это уж мы третьего по счету схоронили... Позвольте-ка, Егор Иваныч, я вам посвечу. Поосторожнее тут.

Сторожка лесника, как успел заметить Николай Николаевич, была поставлена на сваях, так что между ее полом и землею оставалось свободное пространство, аршина в два высоту. Раскосая, крутая лестница вела на крыльцо, Степан светил, подняв фонарь над головой, и, проходя мимо него, студент заметил, что лесник весь дрожит мелкой, ознобной дрожью, ежась в своем сером форменном кафтане и пряча голову в плечи.

Из отворенной двери пахло теплым, прелым воздухом мужичьего жилья вместе с кислым запахом дубленых полушубков и печеного хлеба. Землемер первый шагнул через порог, низко согнувшись под притолкой.

Здравствуй, хозяйшка! сказал он приветливо и развязно.

Высокая, худая женщина, стоявшая у открытого устья печи, слегка повернулась в сторону Жмакина, сурово и безмолвно поклонилась, не глядя на него, и опять закопошилась у шестка. Изба у Степана была большая, но закопченная, пустая и холодная и потому производила впечатление заброшенного, нежилого места. Вдоль двух темных бревенчатых стен, сходясь

к переднему углу, шли узкие и высокие дубовые скамейки, неудобные ни для лежания, ни для сиденья. Передний угол был занят множеством совершенно черных образов, а вправо и влево висели, приклеенные к стенам хлебным мякишем, известные лубочные картины: страшный суд со множеством зеленых чертей и белых ангелов с овечьими лицами, притча о богатом я Лазаре, ступени человеческой жизни, русский хоровод. Весь противоположный угол, тот, что был сейчас же влево от входа, занимала большая печь, разъехавшаяся на треть избы. С нее глядели, свесившись вниз, две детские головки, с такими белыми, выгоревшими на солнце волосами, какие бывают только у деревенских ребятишек. Наконец у задней стены стояла широкая, двухспальная кровать с красным ситцевым пологом. На ней, далеко не доставая ногами до пола, сидела девочка лет десяти. Она качала скрипучую детскую люльку и с испугом в огромных светлых глазах глядела на вошедших.

В углу, перед образом, стоял пустой стол, и над ним на металлическом пруте спускалась с потолка висячая убогая лампа с черным от копоти стеклом. Студент присел около стола, и тотчас же ему стало так скучно и тяжело, как будто бы он уже пробыл здесь много-много часов в томительном и вынужденном бездействии. От лампы шел керосиновый чад, и запах его вызвал в уме Сердюкова какое-то далекое, смутное, как сон, воспоминание. Где и когда это было? Он сидел один в пустой, сводчатой, гулкой комнате, похожей на коридор; пахло едким чадом керосиновой лампы; за стеной с усыпляющим звоном, капля по капле падала вода на чугунную плиту, а в душе Сердюкова была такая длительная, серая, терпеливая скука.

Поставь нам самоварчик, Степан, и взбодри яишенку, приказал Жмакин. Сейчас, батюшка Егор Иванович, сейчас, засуетился Степан. Марья, неуверенно обратился он к жене, как бы ты там постаралась самовар? Господа будут чай пить.

Да уж ладно. Не толкись, толкач, с неудовольствием отозвалась Марья. Она вышла в сени. Землемер покрестился на образа и сел за стол. Степан поместился поодаль от господ, на самом краю скамейки, там, где стояли ведра с водой.

А я думаю себе, кто такой кричит? начал добродушно Степан. Уж не лесничий ли наш? Да нет, думаю, куда ему ночью, он ночью и дороги сюда не найдет. Чудной он у нас барин. Непременно чтобы ему лесники ружьем на-караул делали, по-солдатски. Первое для него удовольствие. Выйдешь с ружьем и, конечно, рапортуешь: Ваше-скородие, во вверенном мне обходе чернятинской лесной дачи все обстоит благополучно... Ну, а, впрочем, барин ничего, справедливый. А что касается, что девок он портит, ну это, конечно, не наше дело...

Он замолчал. Слышно было, как рядом, в сенях, Марья со звоном накладывала угли в самовар, как на печке громко дышали дети. Люлька продолжала скрипеть монотонно и жалобно. Сердюков вгляделся внимательнее в лицо девочки, сидевшей на кровати, и оно поразило его своею болезненною красотой и необычайным, непередаваемым выражением. Черты этого лица, несмотря на некоторую одутловатость щек, были так нежны и тонки, что казались нарисованными без теней и без красок на прозрачном фарфоре, и тем ярче выступали среди них неестественно большие, светлые, прекрасные глаза, которые глядели с задумчивым и наивным удивлением, как глаза у святых девственниц на картинах прерафаэлитов.

Как тебя зовут, красавица? спросил ласково студент.

Большеглазая девочка закрыла лицо руками и быстро спряталась за полог. Боится. Ну чего ты, глупая? сказал Степан, точно извиняясь за дочь. Он неловко и добродушно улыбнулся, отчего все его лицо ушло в бороду и стало похоже на свернувшегося клубком ежа. Варей ее звать. Да ты не бойся, дурочка, барин добрый, успокаивал он девочку.

И она тоже больна? спросил Николай Николаевич.

Что-с? переспросил Степан. Густая щетина на его лице разошлась, и опять из нее выглянули добрые усталые глаза. Больная, вы спрашиваете? Все мы тут больные. И жена, и эта вот, и те, что на печке. Все. Во вторник третье дитя хоронили. Конечно, местность у нас сырая, эта главное. Трясемся вот, и шабаш!..

Лечились бы, сказал, покачав головой, студент. Зайди как-нибудь ко мне в Сердюковку, я хины дам.

Спасибо, Микололай Миколоаевич, дай вам бог здоровья. Пробовали мы лечиться, да что-то ничего не выходит, безнадежно развел руками Степан. Трое вот, конечно, умерли у меня... Главная сила, мокреть здесь, болото, ну и дух от него тяжелый, ржавый.

Отчего же вы не переведетесь куда-нибудь в другое место?

Чего-с? Да, в другое место, вы сказываете? опять переспросил Степан.

Казалось, он не сразу понимал то, что ему говорят, и с видимым усилием, точно стяхивая с себя дремоту, направлял на слова Сердюкова свое внимание. Оно бы, барин, чего лучше перевестись. Да ведь все равно кому-нибудь и здесь жить надо. Дача, конечно, аграпатная, и без лесника никак невозможно. Не мы так другие. До меня в этой самой сторожке жил лесник Галактион, трезвый был такой человек, самостоятельный... Ну, конечно, похоронил сначала двоих ребят, потом жену, а потом и сам помер. Я так полагаю, Микололай Миколоаич, что это все равно, где жить. Уж батюшка, царь небесный, он лучше знает, кому где надлежит жить и что делать.

Марья вошла с самоваром, отворив и затворив за собою дверь локтем. Уселся, трутень безмедовый! накинулась она на Степана. Подай хоть чашки-то!..

Она с такою силой поставила на стол самовар, точно хотела бросить его. Лицо у нее было не по летам старое, изможденное, землистого цвета; на щеках сквозь кору мелких, частых морщин горел нездоровый кирпичный румянец, а глаза неестественно сильно блестели. С таким же сердитым видом она швырнула на стол чашки, блюдечки и каравай хлеба.

Сердюков отказался от чая. Он сидел расстроенный, недоумевающий, удрученный всем, что он видел и слышал сегодня. Мелочное, бессильно-язвительное недоброжелательство землемера, тихая покорность Степана перед таинственной и жестокой судьбой, молчаливое раздражение его жены, вид детей, медленно, один за другим, умирающих от болотной лихорадки, все это сливалось в одно гнетущее впечатление, похожее на болезненную, колючую, виноватую жалость, которую мы чувствуем, глядя пристально в глаза умной больной собаки или в печальные глаза идиота, которая овладевает нами, когда мы слышим или читаем про добрых, ограниченных и обманутых людей. И здесь, казалось Сердюкову, в этой бедной, узкой и скучной жизни, был чей-то злой и несправедливый обман. Землемер молча пил чашку за чашкой и жадно ел хлеб, откусывая прямо от ломтя большими полукруглыми кусками. Во время еды связки сухожилий ходили у него под скулами, точно пучки струн, обтянутых тонкою кожей, а глаза глядели равнодушно и тускло, как глаза жующего животного. Из всей семьи только один Степан согласился, после долгих уговоров, выпить чашку чаю. Он пил ее долго и шумно, дуя на блюдечко, вздыхая и с треском грызя сахар. Окончив чай, он перекрестился, перевернул чашку вверх дном, а оставшийся у него в руках крошечный кусочек сахара бережливо положил обратно в засиженную мухами жестяную коробочку.

Вяло и тоскливо тянулось время, и Сердюков думал о том, как много еще будет впереди скучных и длинных вечеров в этой душной избе, затерявшейся одиноким островком в море сырого, ядовитого тумана. Потухавший самовар вдруг запел тонким воющим голосом, в котором слышалось привычное безысходное отчаяние. Люлька не скрипела больше, но в углу за печкой однообразно, через правильные промежутки, кричал, навевая дремоту, сверчок. Девочка, сидевшая на кровати, уронила руки между колен и задумчиво, как очарованная, глядела на огонь лампы. Ее громадные, с неземным выражением глаза еще больше расширились, а голова склонилась набок с бессознательной и покорной грацией. О чем думала она, что чувствовала, глядя так пристально на огонь? Временами ее худенькие ручки

тянулись в Долгой, ленивой истоме, и тогда в ее глазах мелькала на мгновение странная, едва уловимая улыбка, в которой было что-то лукавое, нежное и ожидающее: точно она знала, тайком от остальных людей, о чем-то сладком, болезненно-блаженном, что ожидало ее в тишине и в темноте ночи. И в голову студента пришла странная, тревожная, почти суеверная мысль о таинственной власти болезни над этой семьей. Глядя в необыкновенные глаза девочки, он думал о том, что, может быть, для нее не существует обыкновенной, будничной жизни. Медленно и равнодушно проходит для нее длинный день, с его однообразными заботами, с его беспокойным шумом и суестью, с его назойливым светом. Но наступает вечер, и вот, вперив глаза в огонь, девочка томится нетерпеливым ожиданием ночи. А ночью дух неизлечимой болезни, измозживший слабое детское тело, овладевает ее маленьким мозгом и окутывает его дикими, мучительно-блаженными грезами...

Где-то давным-давно Сердюков видел сепию известного художника. Картина эта так и называлась Малярия. На краю болота, около воды, в которой распустились белые кувшинки, лежит девочка, широко разметав во сне руки. А из болота вместе с туманом, теряясь в нем легкими складками одежды, подымается тонкий, неясный призрак женской фигуры с огромными дикими глазами и медленно, страшно медленно тянется к ребенку. Сердюков вспомнил вдруг эту забытую картину и тотчас же почувствовал, как мистический страх холодною щеткой прополз у него по спине от затылка до поясицы.

Ну-с, в Америке такой обычай: посидят, посидят, да и спать, сказал землемер, вставая со стула. Стели-ка нам, Марья.

Все поднялись с своих мест. Девочка заложила за голову сцепленные пальцы рук и сильно потянулась всем телом. Она зажмурила глаза, но губы ее улыбались радостно и мечтательно. Зевая и потягиваясь, Марья принесла две больших охапки сена. С лица ее сошло сердитое выражение, блестящие глаза смотрели мягче, и в них было то же странное выражение нетерпеливого и томного ожидания.

Покуда она сдвигала лавки и стелила на них сено, Николай Николаевич вышел на крыльцо. Ни впереди, ни по сторонам ничего не было видно, кроме плотного, серого, влажного тумана, и высокое крыльцо, казалось, плавало в нем, как лодка в море. И когда он вернулся обратно в избу, то его лицо, волосы и одежда были холодны и мокры, точно они насквозь пропитались едким болотным туманом.

Студент и землемер легли на лавки, головами под образа и ногами врозь. Степан устроился на полу, около печки. Он потушил лампу, и долго было слышно, как он шептал молитвы и, кряхтя, укладывался. Потом откуда-то

прошмыгнула на кровать Марья, бесшумно ступая босыми ногами. В избе было тихо. Только сверчок однообразно, через каждые пять секунд, издавал свое монотонное, усыпляющее цыркание, да муха билась об оконное стекло и настойчиво жужжала, точно повторяя все одну и ту же докучную, бесконечную жалобу.

Несмотря на усталость, Сердюков не мог заснуть. Он лежал на спине с открытыми глазами и прислушивался к осторожным ночным звукам, которые в темноте, во время бессонницы, приобретают такую странную отчетливость. Землемер заснул почти мгновенно. Он дышал открытым ртом, и казалось, что при каждом вздохе у него в горле лопалась тоненькая перепонка, сквозь которую быстро и сразу прорывался задержанный воздух. Девочка, лежавшая на кровати рядом с матерью, вдруг проговорила торопливо и неясно длинную фразу... Двое детей на печке дышали часто и усиленно, точно стараясь сдунуть со своих губ палящий лихорадочный зной... Степан тихо, протяжно стонал при каждом вздохе.

М-а-а-мка, пи-и-ить! капризно и сонно запросил детский голос.

Марья послушно вскочила с кровати и зашлепала босыми ногами к ведру. Студент слышал, как заплескалась вода в железном ковше и как ребенок долго и жадно пил большими, громкими глотками, останавливаясь, чтобы перевести дух. И опять все стихло. Размеренно лопалась в груди землемера тонкая перепонка, жалобно билась о стекло муха, и часто, часто, как маленькие паровозики, дышали детские грудки. Старшая девочка вдруг проснулась и села на кровати. Она долго силилась что-то выговорить, но не могла и только стучала зубами в страшном ознобе. Хо-о-ло-дно! расслышал, наконец, Сердюков прерывистые, заикающиеся звуки. Марья со вздохами и нежным шепотом укутала девочку тулупом, но студент долго еще слышал в темноте сухое и частое щелканье ее зубов.

Сердюков напрасно употреблял все знакомые ему средства, чтобы уснуть. Считал он до ста и далее, повторял знакомые стихи и *jus'ы2* из пандектов, старался представить себе блестящую точку и волнующуюся поверхность моря. Но испытанные средства не помогали. Кругом часто и жарко дышали больные грудки, и в душной темноте чудилось таинственное присутствие кровожадного и незримого духа, который, как проклятие, поселился в избе лесника.

Около кровати заплакал ребенок. Мать спросонья толкнула люльку и, сама борясь с дремотой, запела под жалобный скрип веревок старинную колыбельную песню:

Аа-аа-аа-а!

И все лю-ю-ди-и спят,

И все зве-е-ри-и спят...

Лениво и зловеще раздавалась в тишине, переходя из полутона в полутон, эта печальная, усыпляющая песня, и чем-то древним, чудовищно далеким веяло от ее наивной, грубой мелодии. Казалось, что именно так, хотя и без слов, должны были петь загадочные и жалкие полулюди на заре человеческой жизни, глубоко за пределами истории. Вымирающие, подавленные ужасами ночи и своею беспомощностью, сидели они голые в прибрежных пещерах, у первобытного огня, глядели на таинственное пламя и, обхватив руками острые колени, качались взад и вперед под звуки унылого, бесконечно долгого, воющего мотива.

Кто-то постучал снаружи в окно, над самой головой студента, который вздрогнул от неожиданности. Степан поднялся с полу. Он долго стоял на одном месте, чмокал губами и, точно жалея расстаться с дремотою, лениво чесал грудь и голову. Потом, сразу очнувшись, он подошел к окну, прильнул к нему лицом и крикнул в темноту:

Кто там?

Гу-у-у, глухо, через стекло, загудел чей-то голос.

В Кислинской? спросил вдруг Степан невидимого человека. Ага, слышу.

Поезжай с богом, я сейчас.

Что? Что такое, Степан? тревожно спросил студент.

Степан шарил наугад рукой в печке, ища спичек.

Эх... идтить надо-ть, сказал он с сожалением. Ну, да ничего не поделаешь...

Пожар, видишь, перекинулся к нам в Кислинскую дачу, так вот лесничий велел всех лесников согнать... Сейчас объездчик приезжал верхом.

Вздыхая, кряхтя и позевывая, Степан зажег лампу и оделся. Когда он вышел в сени, Марья быстро и легко скользнула с кровати и пошла затворить за ним двери. Из сеней вдруг ворвался в нагретую комнату вместе с холодом, точно чье-то ядовитое дыхание, гнилой, приторный запах тумана.

Взял бы фонарь-то с собою, сказала за дверями Марья.

Чего там! С фонарем еще хуже дорогу потеряешь, ответил глухо, точно из-под полу, спокойный голос Степана.

Опершись подбородком о подоконник, Сердюков прижался лицом к стеклу. На дворе было темно от ночи и серо от тумана. Из отверстий, которые оставались между рамой и плохо пригнанными стеклами, дул острыми, тонкими струйками холодный воздух. Под окном слышались тяжелые торопливые шаги Степана, но его самого не было видно, туман и ночь поглотили его. Без рассуждений, без жалоб, разбитый лихорадкой, он встал среди ночи и пошел в эту сырую тьму, в это ужасное, таинственное безмолвие. Здесь было что-то совершенно непонятное для студента. Он вспомнил сегодняшнюю вечернюю дорогу, мутно-белые завесы тумана по сторонам плотины, мягкое колебание

почвы под ногами, низкий протяжный крик выпи, и ему стало нестерпимо, по-детски жутко. Какая загадочная, невероятная жизнь копошилась по ночам в этом огромном, густом, местами бездонном болоте? Какие уродливые гады извивались и ползали в нем между мокрым камышом и корявыми кустами вербы? А Степан шел теперь через это болото совсем один, тихо повинувшись судьбе, без страха в сердце, но дрожа от холода, от сырости и от пожиравшей его лихорадки, от той самой лихорадки, которая унесла в могилу трех его детей и, наверное, унесет остальных. И этот простосердечный человек, с его наёженной бородой и кроткими, усталыми глазами, был теперь непостижим, почти жуток для Сердюкова.

На студента нашло тяжелое, чуткое забытие. Он видел бледные, неясные образы лиц и предметов и в то же время сознавал, что спит, и говорил себе: Ведь это сон, это мне только кажется... В смутных и печальных грезах мешались все те же самые впечатления, которые он переживал днем: съемка в пахучем сосновом лесу, под солнечным припеком, узкая лесная тропинка, туман по бокам плотины, изба Степана и он сам с его женой и детьми. Снилось также Сердюкову, что он горячо, до боли в сердце, спорит с землемером. К чему эта жизнь? говорит он со страстными слезами на глазах. Кому нужно это жалкое, нечеловеческое прозябание? Какой смысл в болезнях и в смерти милых, ни в чем не повинных детей, у которых высасывает кровь уродливый болотный вампир? Какой ответ, какое оправдание может дать судьба в их страданиях? Но землемер досадливо морщился и отворачивал лицо. Ему давно надоели философские разговоры. А Степан стоял тут же и улыбался ласково и снисходительно. Он тихо покачивал головой, как будто жалея этого нервного и доброго юношу, который не понимает, что человеческая жизнь скучна, бедна и противна и что не все ли равно, где умереть на войне или в путешествии, дома или в гнилой болотной трясине? И когда Сердюков очнулся, то ему показалось, что он не спал, а только думал упорно и беспорядочно об этих вещах. На дворе уже начиналось утро. В тумане по-прежнему нельзя было ничего разобрать, но он был уже белого, молочного цвета и медленно колебался, как тяжелая, готовая подняться занавесь.

Сердюкову вдруг жадно, до страдания, захотелось увидеть солнце и вздохнуть ясным, чистым воздухом летнего утра. Он быстро оделся и вышел на крыльцо. Влажная волна густого едкого тумана, хлынув ему в рот, заставила его раскашляться. Низко нагибаясь, чтобы различить дорогу, Сердюков перебежал плотину и быстрыми шагами пошел вверх. Туман садился ему на лицо, смачивал усы и ресницы, чувствовался на губах, но с каждым шагом дышать становилось легче и легче. Точно карабкаясь из глубокой и сырой пропасти, взбежал, наконец, Сердюков на высокий песчаный бугор и

задохнулся от прилива невыразимой радости. Туман лежал белой
колыхающейся, бесконечною гладью у его ног, но над ним сияло голубое небо,
шептались душистые зеленые ветви, а золотые лучи солнца звенели
ликующим торжеством победы.

Ловкие приемы, фокусы (от нем, Kunstck).2

Здесь: законы (лат.).